

Девушки Редерлейн не без мучений продержались до Э 12, так как играл их учитель. Э 15 обратил в бегство двухжизетного франта.

Э. Т. А. Гофман¹

¹ «Музыкальные страдания капельмейстера Иоганнеса Крейсера»; из цикла «Крейслериана» (1810–1815) Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822), перев. П. Морозова. — *Здесь и далее примеч. перев.*

Он крутанул стул, потому что тот оказался низковат. Хотя полчаса назад установил все как положено. Нет-нет, теперь слишком высоко. Да еще пошатывается, представляешь? Черт бы его побрал. Вот так. Не так. Так. Он достал из кармана пиджака платок и вытер потные ладони. А заодно обмахнул платком чистейшую клавиатуру, как будто и она вся взмокла от замешательства. Поправил манжеты. На мне живого места нет. В горле пересохло, весь будто изодран колючками до крови, а сердце только и ждет, чтобы разорваться на куски по множеству причин. Не хочу, чтобы руки дрожали. Справа мертвенный холод зала. Туда он старался больше не глядеть: вдруг он вовсе не обознался, когда, кланяясь, случайно взглянул на человека, сидящего в первом ряду. Без сомнения, он ошибся. В противном случае следовало бы немедленно положить всему конец. Какая-то дама кашлянула. Потом где-то в глубине зала звучно прокашлялся мужчина, и это напомнило ему, насколько огромен концертный зал. Это ничего, справа не происходит ничего, там ничего такого нет. Всего лишь лед, враг, смерть. Стул, на сантиметр назад.

Жауме Кабре. Зимний путь

На самом верху, в третьем ярусе, за несколько часов от сцены, неразличимые в полумраке зала, страдали глаза цвета янтаря и меда, ведь уже целых четыре минуты Пере Броз тщился стереть с ладоней страх, и публика битком набитой филармонии, безмолвно следящая за каждым его движением, мало-помалу приходила в волнение.

Пере Броз снова поправил манжеты. Пустота справа влекла его к бессмысленному саморазрушению, но он не поддался. Две большие капли пота скатились со лба и на миг затуманили взгляд, а на галерке глаза цвета янтаря и меда залились слезами сострадания к злополучному Пере, разве они не видят, как он терзается, почему не понимают, что мучают его. Броз снова достал платок и протер глаза. Закрыв лицо руками, изо всех сил стараясь избавиться от странного видения, представшего ему, когда он вышел на поклон, и ничего не приходило ему на ум, одна лишь смерть. Он сделал два глубоких вдоха, и зазвучали таинственные первые аккорды сонаты D 960¹. По залу пробежал озноб смятения, как так можно, почему он начал с заключительного произведения, когда в программе сказано... Он что, сбрендил, зачем все ставить с ног на голову? а янтарные глаза сосредоточенно внимали сокровенному размышлению о смерти, даже не подозревая, что Вешшеленьи сказал, что в жизни нет ничего более трогательного, чем эта соната, они внимали сокровенному размышлению о смерти, написанному человеком, который привык плакать в си-бемоль мажоре.

¹ D 960, Соната для фортепиано № 21 си-бемоль мажор, написанная Францем Шубертом в 1828 году.

Посмертный опус

По истечении сорока двух минут тринадцати секунд уже никто в зале не задавался вопросом о том, зачем пианист начал с заключительного произведения, все они внимали и внимали с открытой душой. Когда угасла последняя нота, Пере Броз простер руки над клавиатурой, подобно демиургу, являющему чудную силу, и в первый и последний раз за свою карьеру получил в награду десять, пятнадцать бесконечных секунд тишины. Тут он расслабил плечи и опустил руки в полном изнеможении, и зал взорвался аплодисментами. Пере Броз встал, посмотрел направо, в ту сторону, откуда веяло могильным холодом, и в самом деле увидел его снова: он сидел в первом ряду, в затейливых круглых очках, широколобый, кудрявый, экстравагантно одетый, в седьмом кресле справа, в смертном безмолвии, и глядел на пианиста в упор, из вечности слыша, как люди самозабвенно аплодируют, и, вероятно, осуждая его за посредственное исполнение. В холодном поту Пере Броз удалился со сцены под восхищенные возгласы публики. Вернувшись на сцену и склоняя голову в благодарность за рукоплескания, он внезапно подумал, что всамделишный Шуберт как две капли воды похож на свой портрет с обложки «Voyage d'hiver»¹, его скрупулезной, но спорной биографии авторства Гастона Лафорга, изданной в начале двадцатого века. Уходя, как полагается, за кулисы, он размышлял о том, что, по мнению Лафорга, все три сонаты 1828 года, не изданные при жизни автора, были написаны в лихорадке тщеславия, когда Шуберт узнал, что

¹ «Зимний путь» (фр.).

Жауме Кабре. Зимний путь

Бетховен скончался и путь свободен. Его ладони покрылись потом, как будто он все еще играл. Он снова вышел на поклон, и ему захлопали еще громче. Я больше не могу играть. Пусть Шуберт уходит. Пусть его выгонят из филармонии. Господи Боже, я не в силах перед ним играть. Он поклонился. И подумал о том дне в Вене, на Грабене, когда за чашкой дмящегося шоколада обожаемый Золтан Вешшеленьи сказал ему, помилуй, Петер, какая, к черту, лихорадка. Шуберт оставил наброски, черновики, сомнения, исправления и множество вопросов касательно трех сонат: лихорадка здесь ни при чем. (Шоколад был такой горячий, что Вешшеленьи обжег себе язык. Какой он все время рассеянный, какой он все время грустный, мой Золтан.) Шуберт знал, что делал, Петер; он знал, что размышляет о собственной смерти. Особенно в сонате D 960.

— Парень, ты просто гений. Хотя и сукин сын, — выпалил Пардо, выпихивая его снова на поклон.

Когда он вернулся, рукоплескания все еще не смолкли, но Пере Броз сухо сделал знак распорядителю, что больше не выйдет, чтобы тот закрыл дверь.

— Я не хочу больше играть концерты.

— Всего один концерт, тринадцатого декабря. Полный зал. На что тут жаловаться?

— Я пошел в гримерную, — ответил пианист, как будто вся беда была именно в этом.

— К тебе пришли. Мадам Гроссман.

— Я не хочу никого видеть.

— Это же мадам Гроссман.

— Я сказал, никого.

— Какого дьявола ты стал играть не в том порядке?

Посмертный опус

— После концерта пусть меня у входа ждет такси.

— И не мечтай. После концерта мадам Гроссман и интервью.

— Нет, говорю тебе, такси.

— А я говорю, что ты сукин сын.

В *andante sostenuto* сонаты D 960 смерть приближается из дымки над Дунаем, издалека, она все ближе и страшнее, и в исполнении Пере Броза трехминутную тему пронизывала непрерывная тревога, нарастая в постепенном крещендо, которое выдержать в силах лишь золотые руки с алмазом в каждом пальце. А при повторе темы в зале воцарилось безмолвие такой силы, что он чувствовал, как дышат деревянные панели на стенах. Исключительно, единственно по этой причине он только усмехнулся в ответ Пардо и направился в гримерную, а обиженный импресарио поплелся за ним. Пианист хлопнул дверью у него перед носом: как он смеет так обращаться со мной, ведь без меня он как без рук, без головы, без памяти!

Пере Броз налил себе бокал «Вдовы Амбаль», как будто это был самый что ни на есть обычный концерт и ничего особенного не произошло. Однако слез сдержать не смог. Он подошел к стоявшему у стены фортепиано и нежно погладил клавиши. Отпив еще глоток, Броз сел за инструмент и в глубоком отчаянии опустил голову. Тут пианист увидел бандероль, которую ему доставили прямо перед выходом на сцену. Срочная авиадоставка, из Вены. Он в нетерпении вскрыл пакет. Великолепное издание. Он увидел на обложке венскую францисканскую церковь, в которой Фишер тридцать три года

Жауме Кабре. Зимний путь

служил органистом. И посвящение Золтана: «Пере Броз, чьи уверения в том, что четверть века спустя мое исполнение сонаты D 960 кажется ему непревзойденным, подарило мне величайшую в жизни радость. От автора, у которого не достало мужества продолжать бесчеловечную карьеру пианиста. Да пребудут с нами образы любимого Шуберта и великого Фишера. Твой друг Золтан Вешшеленьи».

Он отхлебнул еще шампанского и устремил взгляд в прошлое.

* * *

Золтан Вешшеленьи наигрывал си-бемоль, ля, ре-бемоль, си, до на старинном фортепьяно в здании архива, откуда не выходил с утра до ночи с тех пор, как стал печальным. Вот он еще раз сыграл мелодию Фишера и подошел к окну. На улице венское небо разразилось внезапным, совершенно неуместным средиземноморским ливнем.

— Что это такое?

— Главная тема.

— Подожди, но ты же сказал, что Фишер умер в тысяча восемьсот двадцать восьмом году?

Вместо ответа музыковед указал на рукопись. Она пожелтела от времени, но отлично сохранилась. Партитура была сделана чисто, каллиграфически тщательно. Странная музыка, написанная с большой любовью. Броз поразился тому, как эту сольмажорную сарабанду можно было сочинить из такой необычной мелодии. Или, может быть...

— Здесь нет ключевых знаков. В какой она тональности?

Посмертный опус

— Не знаю. Это не тональная музыка. И не модальная.

— Не может быть.

— Нет. Так оно и есть.

— Звучит очень красиво.

— Навероятно. У меня в голове не укладывается, как ему удалось такое написать во времена Моцарта и Бетховена.

Структурное развитие темы состояло из двух частей длиной в шестнадцать тактов, каждая из которых представляла собой сарабанду из четырех музыкальных фраз по два такта, начинавшихся с той же странной мелодии. Все было безупречно, мастерски построено.

Оба друга долго молчали, слушая нестройное звучание дождя. Отдельные капли ливня настойчиво стучали о какую-то забытую на земле железяку, и пронзительно раздавался до-диез. От этого становилось не по себе.

— Настоящая сенсация, — заключил Броз, проведя полчаса за чтением семи вариаций.

— Такую находку мне бы хотелось опубликовать как можно скорее. Фишер, никого не задевая, перешагнул через Брамса и Вагнера, превзошел Малера и опередил Шёнберга. Он хотел обновить музыку, пока она еще не изжила себя.

— Однако сам обнародовать свои творения не решился.

— Его, должно быть, ужасала мысль о том, что скажут люди.

— И все же партитуру он не уничтожил. — Тут Пере Броз посмотрел другу в глаза. — А вдруг это фальшивка? Тебе не приходило в голову, что кто-то решил над тобой подшутить?

Жауме Кабре. Зимний путь

— Сначала я так и подумал и отправил рукописи в лабораторию: все тщательно проверили, бумага и чернила того времени, без всякого сомнения.

— Можно я это сыграю?

На прощание, под уже потемневшим небом, Пере признался другу, что до сих пор со слезами на глазах вспоминает его блистательное исполнение шубертовской сонаты D 960 в Консерватории, и чуть слышно прошептал ему на ухо, Золтан, дорогой мой, зачем ты прекратил выступать, ты, лучший на свете пианист? А? Зачем, ведь ты был моим идеалом?

Пере крепко обнял его, будто этим объятием хотел сказать гораздо больше. Вешшеленьи высвободился, улыбнулся и сказал, что поделаешь, так уж вышло. И чтобы перевести разговор на другую тему, обещал, что пришлет ему книгу о Фишере срочной бандеролью в любую точку мира, как только она выйдет из печати. Если Пере согласен ее прочитать и поделиться впечатлениями.

* * *

Пере Броз налил себе еще бокал «Вдовы Амбаль». Кто-то нетерпеливо долбил в дверь гримерной. Он не ответил. Сидя за фортепьяно, он снова наигрывал си-бемоль, ля, ре-бемоль, си, до. Прошло три года со дня той встречи в венском архиве, но он не забыл ни мелодии, ни ее развития. Тут дверь широко распахнулась, поддавшись решительному и бесцеремонному толчку. Делая невероятное усилие, чтобы не взорваться, побагровевший Пардо закрыл ее за собой.

— Что за шутки? Гроссман говорит... она хочет сама тебе сказать, что ничего на свете не пожалела

Посмертный опус

бы, чтобы научиться играть, как ты. — Он ожил. — Ты произвел на нее впечатление, и этим нужно воспользоваться.

— Скажи ей, что я жизни не пожалел, чтобы научиться так играть.

— Нет-нет-нет, что ты. Нет. — Быть рассудительным стоило Пардо такого труда, что голова раскалывалась на части. — Я пытаюсь убедить Гроссман, чтобы за гастроли во Франции она платила нам вдвое больше. Это тебе не шуточки: будь с ней полюбезнее.

— Пошли ее подальше. Кстати, я после антракта не выйду.

Пардо поглядел, сколько осталось в бутылке, взял у него из рук бокал и ровным голосом сказал:

— Я это уже десять раз слышал. Хватит шуточки шутить. На всех на вас, артистов, перед выступлением мандраж находит.

— Пока не дойдешь до точки. А я сегодня уже дошел до точки.

— Ты играл великолепно.

— Я умирал великолепно.

Ему хотелось поведать о своей печали. Хотелось кричать о ней во весь голос. Только не перед Пардо. Ему хотелось уехать в Вену, чтобы сказать, решено, Золтан, хватит колесить по свету, хватит раздумывать о том, что могло бы быть; я наконец сделал выбор между музыкой и тобой. И я выбрал тебя, невзирая на твое равнодушие и невзирая на долгие часы занятий и труда, которые пойдут теперь прахом; невзирая на сладость похвал, на аплодисменты и почести. Что-то в этом роде он хотел ему сказать. И чтобы тот ответил ах, как я рад, Петер.

Жауме Кабре. Зимний путь

— Зачем ты начал с последней сонаты? — не унимался Пардо.

— Не знаю. Само так вышло. Как будто это конец. Мне было очень... — И слегка изменившимся голосом он продолжал: — Там в первом ряду сидел Шуберт. На седьмом месте.

На этих словах Пардо вернул ему бокал.

— Уж лучше выпей. Только не напивайся. Не забудь, что к тебе пришла мадам Гроссман с подругой. Запомни: пусть удвоит гонорар. А журналист пусть завтра приходит.

— Я же тебе сказал, что я ухожу со сцены...

— Для успеха весеннего концертного турне нужно уладить пару пустяков и постараться сделать так, чтобы тебе не являлись призраки, чтобы ты доигрывал концерты до конца, умел мило улыбаться мадам Гроссман и вежливо принимал ее комплименты.

— Можешь ей от меня передать, чтобы шла в жопу.

— Если ты не выйдешь на сцену после антракта, клянусь, меня инфаркт хватит.

Они уставились друг на друга, и за двадцать секунд перед обоими пролетели годы трудностей, нескончаемых турне, перепалок, заработков, счастливых дней и слез, связавших их судьбы. Пардо указал на дверь и вкрадчивым тоном произнес, впусти ее, ладно?

Пере Броз брезгливо отвернулся, а Пардо, бледный от гнева, вышел из гримерной, закрыл за собой дверь и, широко улыбнувшись двум сгорающим от нетерпения дамам, штрихами, достойными Данта, стал расписывать им, как беднягу Броза сразил приступ язвы желудка. В это время в гри-

Посмертный опус

мерной несчастный больной налил себе еще шампанского. Его рука дрожала. Уже тридцать восемь лет, с тех пор как в девятилетнем возрасте он начал заниматься у мадемуазель Труйольс, — а сейчас поднимавшему полный бокал «Вдовы Амбаль» минуло сорок семь, — у него дрожали руки. Он выпил за свое здоровье, за долгие часы, проведенные за инструментом для того, чтобы всегда быть идеальным, божественным, чувствительным, человеческим, превосходным, сильным, убедительным, потрясающим, тонким, нежным, совершенным: постоянно, постоянно, постоянно и постоянно. Столько лет бесполезной долбежки, никому не нужной, потому что теперь, в крошечной комнатке, перед зеркалом, обрамленным тысячей лампочек, не доиграв концерта, он решил все бросить. Столько занимался, а Шуберта боюсь. Пусть его уведут, прошептал он по секрету своему верному другу бокалу. Пусть его выгонят отсюда. Он не имеет права!

Антракт подходил к концу, и Пардо тихо вошел в гримерную и уселся в ожидании взрыва. Однако Броз даже не удостоил его взглядом: он молча пил. Тогда импресарио перешел в атаку:

— Поверить не могу, что ни с того ни с сего твоя ноша стала неподъемной.

— Не ты же ее несешь, а я. — Тут Броз повысил голос. — А Шуберта ты видел?

— Нет в этом зале никакого Шуберта! Я лично проверял, клянусь тебе.

— Значит, он вышел в вестибюль выкурить сигарку. Я не в силах играть, когда он меня слушает.

— Ты не можешь бросить музыку!

— Я музыку не брошу. Просто перестану выступать.

Жауме Кабре. Зимний путь

— Послушай, завтра обсудим, выходить ли тебе на пенсию, и сделаем как скажешь... Но сегодня... Ты обязан доиграть. И пообщаться с Гроссман.

— Не буду.

— Так все и бросишь, посреди антракта?

— Ну да. Мне даже заниматься теперь тяжело, я каждую минуту думаю о том, как страшно выходить на сцену. Я не выношу такого напряжения. Я никогда не выносил такого напряжения.

— У тебя всегда все отлично получалось. Всегда! — И умоляющим тоном: — Неужели этого мало?

— Музыка для меня — путь к счастью. А я уже давным-давно не чувствую себя счастливым, выходя на сцену. И сегодня...

— Да кто тебе сказал, что в музыке есть счастье? — возмущенно перебил его Пардо. — Мне она тоже счастья не приносит, и ничего, терплю.

Броз поглядел ему в глаза: в них не было насмешки. Но тут заметил, что импресарио, который шампанского терпеть не может, наливает себе бокал, и понял, зачем он это делает.

— Не беспокойся, я не напьюсь. Мне нужно принять решение на трезвую голову.

Уяснив, что этот срыв не похож на все прочие, Пардо оставил при себе заранее припасенные ругательства и упреки. Сделал вид, что отпил глоток шампанского, и больше к бокалу не прикасался. Пианист молча смотрел, и Пардо начал загибать пальцы: во-первых, ты ничего не умеешь делать, кроме как выступать.

— Я мог бы отдохнуть. Мог бы преподавать.

— Во-вторых, о преподавании ты не имеешь ни малейшего представления; ты ни разу не зара-

Посмертный опус

батывал себе на жизнь уроками; у тебя никогда не было терпения, чтобы давать уроки.

Пока Пардо загибал третий палец и обобщал следующий пункт, Броз подумал, это неправда, он некоторое время давал уроки своей соседке, девушке очень милой и очень... даже и не знаю, но очень.

— Ты уверена, что я вам не мешаю, когда занимаюсь?

— Да что вы! Мы только рады. Когда ты... когда вы... в общем, мы с мамой... даже и не разговариваем, чтобы не упустить ни звука. А ведь мы с ней болтушки. — И чуть тише она добавила: — А вот когда вы уезжаете, становится грустно.

— Зато вам без меня гораздо спокойнее. Я сейчас как раз уеду на пару недель.

— Не уезжайте.

— Не уезжать?

— Нет, понимаете...

Девушка с глазами цвета живого, драгоценного янтаря взглянула на него и подумала, почему же этот человек, такой... такой... даже не догадывается о ее существовании.

— Не беспокойся: когда я вернусь, мы дополнительно позанимаемся и наверстаем пропущенное.

— Нет, я не о том. Просто...

— У тебя есть способности. Но поищи себе лучше другого учителя. Организованного, такого, который умеет преподавать системно. Я очень...

— Я хочу быть... то есть заниматься... с вами. Только с вами. Всегда.

Его единственная ученица. Как-то раз ему было очень грустно и одиноко, и он признался ей, как мучается перед каждым концертом: она все поняла,